

## О Дрозсооре и других частных кружках, о КЕПСе и о том, как его уговорили ехать в Германию учить немцев генетике

<https://oralhistory.ru/talks/orh-489>

🎙 28 июля 1975

### Собеседник

Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович

### Ведущий

Радзишевская Марина Васильевна

### Дата записи

Беседа записана 28 июля 1975 и опубликована 13 февраля 2017.

### Введение

В пятой беседе Николай Владимирович продолжает рассказ о биологическом кружке, который назывался Совместный ор о дрозофиле или Дрозсоор. Подобные кружки Тимофеев-Ресовский организовывал везде, где пришлось жить и работать. В Дрозсооре, в работе на биостанциях и в Кольцовском институте вырабатывались собственные направления исследований, рождались новые идеи, в частности появилась желание соединить новую науку генетику с классическим эволюционным учением. Активный период работы Дрозсоора и вообще кружков пришелся на последние годы жизни Ленина, с исчезновением «ленинского духа» такие объединения были признаны контрреволюционными и разогнаны.

Во второй части беседы Тимофеев-Ресовский переходит к «заграничному» этапу своей жизни. Летом 1925 года ученый был приглашен в Берлин заведующим лабораторией Института исследования мозга Общества содействия наукам им. кайзера Вильгельма. Так начался почти двадцатилетний зарубежный этап жизни ученого.

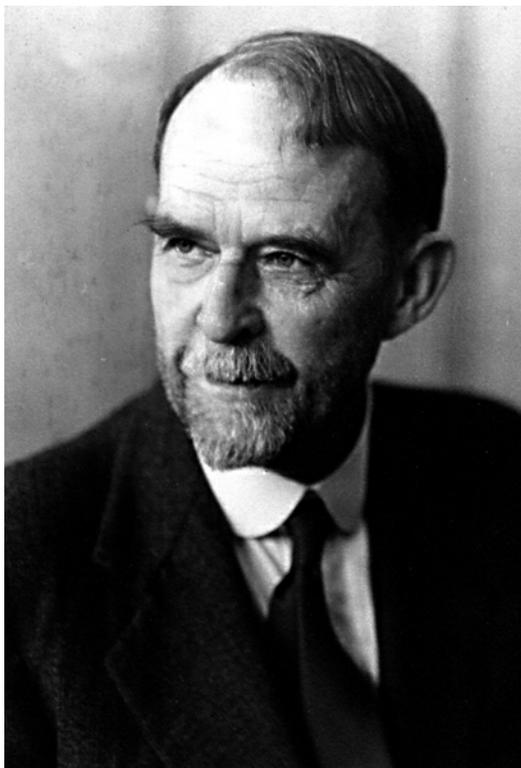
Марина Васильевна Радзишевская: Пожалуйста.

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский: Сегодня нам надо продолжить рассуждения о Дрозсооре. То, что до сих пор я вам рассказал, было, собственно, довольно отрывочно и служило таким общим введением. Как, для чего организовался наш четвериковский кружок, как он превратился в Дрозсоор после того, как Мёллер привез дрозофилу из Америки и распропагандировал среди нас дрозофильную генетику, в результате чего почти все, так сказать, обычные члены нашего кружка превратились в экспериментальных генетиков. Как я уже говорил, прежде большинство из нас были гидробиологами, энтомологами, орнитологами, зоологами, ботаниками классического направления.

## Теоретическое и экспериментальное изучение хромосомной теории наследственности

Я уже упоминал, что первая наша задача в связи с совершенно тогда для нас новым внедрением экспериментальной генетики, самой модернистой по тому времени экспериментальной дрозофильной генетики в нашу среду была необходимость серьезного ознакомления с совершенно до того нам незнакомой литературой. Нельзя забывать, что в 21-м году первые заграничные книжки научные доходили до нас. Я помню, как в 21-м году пришла через Кольцова... Кольцов получил от своих друзей в Германии один экземпляр книжки Моргана «The physical basis of heredity», которую он решил издать по-русски, перевести. И эта книжка сперва быстро объехала, значит, Ленинград, Киев и, по-моему, какой-то еще университетский город, Казань кажется, вернулась в Москву, была разделена, разорвана на главы и различным сотрудникам Кольцова были розданы эти главы для перевода. Надо сказать, книжка оказалась переведенной очень хорошо. Такая метода применяется и сейчас: делят на главы, и какой-нибудь там профессор, редактор раздает своим сотрудникам, и потом ни он, никто другой не дает себе труда редактировать, и, в общем, получается, что иногда и терминологическая путаница возникает. Одним словом называется что-либо в одной главе, а в другой главе другим словом, или тем же словом другое называется. Одним словом, много путаницы. А это было прекрасно отредактировано Кольцовым и вышло в Москве в Госиздате под титулом «Структурные основы наследственности»<sup>1</sup>. Эти «Структурные основы наследственности» Моргана сыграли в свое время огромную роль. Это было, собственно, началом внедрения современной генетики в биологическое мышление русских зоологов, ботаников, микробиологов и так далее.

<sup>1</sup> Морган Т.Г. Структурные основы наследственности. М.-Пг., 1924.



Т.Г. Морган

Так вот, а только с 22-го, даже с 23-го года начали приходить журналы научные, особенно генетические, которые до тех пор почти никому из нас не были известны. Мёллер же, как я уже упоминал, привез не только живые культуры дрозофилы, но и большое количество оттисков дрозофильных, кукурузных и других современных в то время генетических работ и, как я уже упоминал, мы принялись за чрезвычайно серьезное, подробное, с полным критическим разбором содержания реферирование основных из этих новых генетических работ. Ну, в связи с этим и кружок наш уже стал не просто Соором, а Дрозсоором.

Это сыграло очень большую роль. Для нас всех это было, помимо всего прочего, прекрасной школой усвоения и освоения научной литературы. Потому что кружок наш был, так сказать, частный, не официальный, мы могли себя чувствовать совершенно свободно и свободно к каждому докладчику приставали с вопросами самого разнообразного характера, так что докладывающий ту или иную работу или небольшую группу связанных работ, очередной референт, должен был уметь, так сказать, отчитываться передо всеми нами в любых вопросах, которые мы ему ставили. Это, конечно, сыграло большую роль в нашем дальнейшем развитии научном. Я считаю, что это имело большое значение.



Н.В. Тимофеев-Ресовский. 1926

Очень большое значение имело при этом руководство Четвериковым этого нашего совершенно свободного и демократичного кружка. Он как-то умел направить все эти споры, разговоры, казалось бы, принимавшие подчас совершенно неопределенные, неоформленные и неупорядоченные направления, он умел как-то все это вовремя возвращать в нужное русло, вместе с тем не ограничивая ни докладчика, ни вопрошающих, оставляя полную свободу соора или трепа, и вместе с тем, так сказать, препятствуя вырождению этого соора или трепа в пустопорожнюю болтовню. Вот мне кажется, что все участники Дрозсоора, сейчас их осталось несколько человек старичков, на себе почувствовали большое значение этой дрозсоорной школы, которую мы тогда, в самом начале 20-х годов, собственно, в 21-м, 22-м, 23-м году весьма основательно прошли.

Параллельно с Дрозсоором, по мере освоения нами теоретических основ и фактического материала литературного тогдашней экспериментальной генетики... Я еще раз хочу напомнить, нельзя забывать: до того была первая мировая война, когда и сформировавшиеся уже русские ученые были, в сущности, от мировой науки на ряд лет практически почти отрезаны. А мы были отрезаны, собственно, со времен нашего юношества и вот до 22-го года были отрезаны совершенно от того, что происходило за границей. Генетика же была в то время наука весьма молодая и, в сущности, самый интересный, плодотворный и бурный период развития экспериментальной генетики и был, ну, так, грубо говоря, с 13-го года до 22-го — 23-го года. Значит, мы за развитием этой новой генетики, естественно, следить не могли, не говоря уж о том, принимать в этом участие, и нам пришлось за один-два года всё это в нашем Дрозсооре нагонять и как следует усваивать и пережевывать.

”

**И, конечно, очень правильно получилось, что мы параллельно с этим начали экспериментальную работу в области экспериментальной генетики на этом замечательном, удобнейшем объекте для экспериментальных генетических работ, особенно по тому времени — дрозофиле.**

Первое время было нелегко. Мы, конечно, опять-таки под влиянием Кольцова, Четверикова, отчасти Александра Сергеевича Серебровского мы все, молодежь, включая самих Четверикова и Серебровского, проделали на привезенных Мёллером культурах серьезный, большой дрозофильный экспериментально-генетический практикум. Своими руками провели все скрещивания нужные, своими глазами убедились не только в менделизме, который нам экспериментально, нашему

поколению, в сущности, послевоенному, не был известен, да и большинству наших учителей был известен только по довоенным учебникам. А мы, значит, убедились не только в «менделизме», в кавычках, но и в морганизме, во всех новых штучках, так сказать, в подходе новом к реальному освоению хромосомной теории наследственности. И это было опять-таки очень хорошо и правильно, что наши учителя, в первую голову Кольцов и Четвериков, настояли на том, чтобы мы, наряду с теоретическими занятиями в нашем Дрозсооре практически прошли своего рода большой и очень большой генетический практикум на дрозофиле.

Цитологи наши тогдашние, особенно Софья Леонидовна Фролова и Петр Иванович Живаго, помогали нам, показывая и заставляя нас самих проделывать цитологические исследования: красить хромосомы, считать хромосомы, так что мы параллельно осваивали и материальные основы наследственности, материальные основы хромосомной теории наследственности. Вот это было, я бы сказал, очень существенным, очень важным этапом в нашем развитии, в развитии московской и отчасти ленинградской школы генетиков, потому что филиппенковская группа тогдашней петроградской еще группы молодежи находилась и теоретически в контакте с нами, и время от времени, несмотря на трудности тогда переездов и личных коммуникаций, все-таки мы находились в контакте друг с другом. Так что можно сказать, что этот период имел огромное значение для развития всей советской генетики, которая тогда зарождалась. И очень хорошо получилось то, что она зарождалась с самого начала на основе тогдашнего высшего уровня экспериментальной генетики: на дрозофиле, в основном, отчасти на кукурузе. Но, в основном, на том живом материале дрозофильном, который привез Мёллер и который Мёллер нам лично показал, разъяснил, распропагандировал и так далее. Вот это была главная заслуга и главный результат деятельности нашего Дрозсоора.

К 23-му году мы стали, в результате такого, ну, что ли, самообучения, грамотными, по тогдашнему времени, и достаточно передовыми, не отсталыми генетиками. Нам это было нелегко переварить, потому что, как я уже раньше говорил, те же американцы в то время уже формировали целые большие группы молодых специалистов, с самого начала генетиков, которые кончали университеты в качестве генетиков, делали соответствующие дипломные работы и так далее. Мы же все были классическими биологами довоенного уровня, которые освоили самостоятельно более-менее, по тогдашним временам, еще раз подчеркиваю, самую модернистскую, самую передовую экспериментальную генетику. В этом была трудность, но в этом была, может быть, и особая привлекательность работы нашего кружка и нашей группы в кольцовском институте уже экспериментально. Вот.

## Переход к генетическим исследованиям

Как-то довольно постепенно и безболезненно... из того, что раньше я уже говорил, что с прилетом Мёллера с живыми культурами дрозофилы и после его докладов у нас на биологических станциях могло бы создаться впечатление, что мы (а как я уже упоминал, большинство из нас были гидробиологи, частично энтомологи) разом бросили свою старую профессию и вот с сегодня на завтра стали генетиками. На самом деле это происходило, конечно, не так. Все мы были все-таки таким активным научным отбором... результатом научного отбора, проведенного Кольцовым и старшими его сотрудниками, тем же Четвериковым, Серебровским, Фроловой. Мы были людьми не такого типа, которым было наплевать, что бы ни делать, абы заниматься наукой. Нас интересовали не бумажки (между прочим, характерно, что многие из нас даже не кончили университета, не заботились вообще ни о каких бумажках, а работали и работали), а интересовала наука всерьез. И мы, конечно, не могли то, во что вработались и влезли уже, просто плюнуть и бросить. Этот переход нашей группы в основном из гидробиологии и энтомологии в экспериментальную генетику происходил естественно и помаленьку.

**” Не бросая старое, мы занялись новым, начали разводить дрозофилу, ставить скрещивания, частью сообщая, частью каждый для себя, выдумывая свою новую тематику и проблематику генетическую.**

Я уже упоминал, что нам облегчало не попасть просто в подражатели американцам то обстоятельство, что мы уже были, вся наша группа была с молодости, с юных лет убежденные и активные биологи: зоологи и ботаники, любители природы. Соответственно с довольно большим запасом ориентировочных знаний в области биологии в смысле набора живых организмов, населяющих нашу планету, и особенно обширное отечество наше. Это облегчало нам не делаться просто еще группой экспериментальных генетиков, производящих какие-то скрещивания, наблюдающих всякие расщепления или результаты кроссинговеров, подсчитывающих мух и публикующих соответствующие результаты. А мы старались найти какие-то свои проблемы, свою тематику. Наша четвериковская группа параллельно летом на Звенигородской станции занималась количественными биометрическими работами по изучению двух природных таких, что ли, микроландшафтов в окрестностях биологической станции: знаменитое Луцинское болото и затем одна полулесная лужайка на берегу Москва-реки, тоже около станции. Мы уже пытались поставить все это теоретически на генетическую почву, исходить из того, что мы уже знали в области общего значения генетики, этого учение о том, что сейчас мы называем кодом наследственной информации, передаваемым от поколения к поколению. На основании того, что мы уже тогда знали относительно этого кода, с этой точки зрения, с точки зрения знания генетических основ в живой природе, проводить такие, казалось бы, опять-таки на первый взгляд, довольно тривиальные комплексные зоологоботанические исследования небольших районов живой природы.

А параллельно в лаборатории шли скрещивания с дрозофилами. Причем, мы тоже старались найти какие-то свои линии. Вот я и еще несколько человек, в особенности Астауров, Балкашина, попозже Рокицкий, занялись фенотипической: подробным исследованием варьаций изменчивости в проявлении фенотипическом отдельных мутаций, отдельных генов. Как отдельные аллели, вернее, проявляются при различных воздействиях как других генов, генотипов, так и различных условий внешней среды. Это привело, в конце концов, к довольно приличному знанию феноменологии проявления генов. К определенным представлениям о взаимодействии проявления генов как с другими элементами генотипа, так сказать, как с генотипической средой, так и с внешней средой, с отдельными факторами и взаимодействиями разных факторов

внешней среды: питание, температура и всякая такая штука.

## Связь с эволюционными процессами

Кое-кто занялся в особенности изучением мутационного процесса. Это было интересно потому, что мы, тогда уже многие из нас, во всяком случае, стали строить свои новые представления о том, как можно с точки зрения новой развивающейся науки генетики видоизменить и оживить развитие дарвинизма, то есть научной теории эволюции. Теории эволюции, в основном, под влиянием естественного отбора. Ну, совершенно естественно, на это и Дарвин еще указывал, что в основе всякой эволюции лежит изменчивость, наследственная изменчивость какая-то. Дарвин считал ее ненаправленной, случайной. И мы по той литературе и по накапливающемуся уже у нас собственному опыту по мутабельности той же дрозофилы тоже пришли, помаленьку приходили вернее, к убеждению, что мутационный процесс — возникновение изменений в дальнейшем передающемся по наследству наличном наборе генов (наследственных факторов организма) — вовсе не так слаб и редок, как многим казалось. Что у каждого организма, по-видимому, все-таки возникает довольно большое число мутаций.

Ну, что значит большое? Общее число любых мутаций, наверное, уж нам тогда это не только казалось, а мы были почти уверены, что оно равно паре процентов. Сейчас мы знаем, что оно еще больше, оно порядка десятка процентов. Но, правда, так как генов очень много, то каждая мутация в отдельности возникает очень редко. Часто на десятки, сотни тысяч, даже на миллионы гамет в одной, в среднем, возникает определенная мутация определенного гена. Но, во всяком случае, для нас было совершенно очевидно, что вот эта генетическая мутабельность и есть та первичная основа, на которой протекает и только и может протекать эволюционный процесс. Затем нам казалось очень важным как-то строже подойти к проблеме воздействия давления, как тогда начали называть, то есть количественного процесса возникновения мутаций, взаимодействие этого процесса с процессом отбора, с процессами изоляции различных частей, популяций внутри вида и так далее. Как-то строже подойти к изучению первичных, исходных процессов эволюции.

Классический дарвинизм той поры, классическое эволюционное учение занималось тем, что позже мы назвали макроэволюцией, то есть крупными явлениями эволюционными. Эволюционными процессами, протекающими в течение длительных отрезков времени, обычно биологических, на больших пространствах, среди надвидовых групп, таксонов живых организмов. Но в основе-то всего этого... ведь виды не могут рождаться из ничего, ведь то, что реально в каждый данный момент происходит в живой природе, происходит внутри видов.



**Вот живут виды в пределах своего ареала, индивиды там размножаются, живут, ссорятся, мирятся, поедают друг друга и так далее, и во всей этой внутривидовой кутерьме происходит что-то такое, что ложится в основу этого большого процесса эволюции.**

Значит, должна быть какая-то микроэволюция, какие-то стартовые, исходные механизмы эволюции, которые ведут уже к большой эволюции в живой природе.

Тогда уже, в начале 20-х годов, мы все почувствовали интерес к этому. Пробуждался он особенно тем, что наш взрослый уже вполне руководитель, Сергей Сергеевич Четвериков, которому тогда было уже за сорок лет, или в этом роде... да, около сорока, был опытным крупным энтомологом, много работавшим в области систематики бабочек, в частности. У него был опыт зоогеографический, опыт систематика. И вот ему, конечно, как говорится, сам бог велел постараться новые и для него генетические знания и аспекты приложить к новой форме интерпретации эволюционной проблематики.

Вот Сергей Сергеевич Четвериков сам, я, Дмитрий Дмитриевич Ромашов, ныне покойный, Промптов, Николай Константинович Беляев, мы активно заинтересовались синтезом тогдашней современной генетики с классическим эволюционным учением. Затем, как я уже говорил, феногенетика, изучение фенотипической изменчивости в проявлении наследственных признаков, затем изучение мутационного процесса как такового, так как мутационный процесс является неизбежной основой любых эволюционных изменений. Вот эти, пожалуй, три направления стали наиболее такими интересными для нас.

Все это вместе рождало, естественно, интерес и к изучению природы генов, наследственных факторов. Что они собой представляют, что в связи с этим представляют собой чисто механические мутации? Это направление оставило серьезный след во многих из нас в дальнейшей нашей работе, в частности, через пару десятилетий моя группа, уже моих учеников и сотрудников, специально занималась, ну, что ли, физико-химической природой мутаций и структурой генов. Это оживлялось у нас начатыми еще давно Николаем Константиновичем Кольцовым рассуждениями, основанными на его собственных работах по физико-химической природе ряда клеточных структур и внутриклеточных процессов, скажем, мускульного сокращения и так далее, приведших Николая Константиновича уже в 20-е годы к определенным воззрениям, касающимся природы наследственного вещества, природы генотипа, а в связи с этим, конечно, и мутаций, изменений этого генотипа.

Тогда в основном сам Николай Константинович Кольцов разрабатывал эти свои воззрения. Первая его большая на современном уровне работа появилась в 28-м году в «Biologisches Zentralblatt» по-немецки. А затем в начале 30-х годов целый ряд теоретических его исследований о природе, строении хромосом и генов, а в связи с этим и природе мутаций появились в биологическом журнале, сперва начавшего выходить под названием «Журнал экспериментальной биологии», потом «Биологический журнал», потом «Журнал общей биологии». Вот.

## Дрозоор и другие кружки

Я бы сказал так, что самое интересное в нашем Дрозсооре было то, что этот кружок... Кружков в то время было немало, вообще-то говоря, и в университете были, и среди зоологов, и среди ботаников различные кружки. Я бы сказал, наш кружок, наш Дрозсоор, был особенно интересен тем, что он состоял в основном из молодых сотрудников кольцовского института. В широком смысле, включая биологические станции, принадлежавшие институту, и из старших студентов, вернее, студентов, проходивших большой зоологический практикум кольцовский. Очень интересный, очень разнообразный по тем знаниям, которые давались студентам, принимавшим участие в этом большом кольцовском практикуме. И что все это происходило в кольцовском институте, где, помимо самого Кольцова, была очень интересная группа совершенно передовых биологов старшего по сравнению с нами поколения кольцовских учеников еще со времен университета Шаняевского и Московских высших женских курсов. Вот Фролова, Живаго, Серебровский, Завадовский, целый ряд... Скадовский Сергей Николаевич. Все это были интересные крупные люди, так сказать, стоявшие над нами. Они, кроме Четверикова, не были постоянными рядовыми участниками нашего кружка, но наш кружок, так сказать, в их среде развивался. И это, конечно, сыграло очень большую роль, очень большую роль.

И затем, конечно, самое-то важное то, что это ведь был совершенно неофициальный кружок. Он никому не был подведомственен, никаким организациям, никаким важным лицам или неважным лицам. Это была наша, совершенно частная затея — Дрозсоор. Мы совместно орали сперва вообще, а потом преимущественно на дрозофильные темы. Вот на этом можно, пожалуй... так как мне предстоит еще много всячины рассказывать, так сказать, закруглиться в отношении Дрозсоора. Мне кажется, то, что я о Дрозсооре рассказал, этого достаточно.

Дрозсоор с моим участием продолжался до 25-го года, а с 26-го года меня уже не было, но... немножко он разросся, к сожалению. В него попало, может быть, несколько менее подходящих людей, но все кончилось в 28-м году, когда начались другие совершенно веяния в Советской России, чем были во времена ленинские. После смерти Ленина ленинский дух еще несколько лет, так сказать, витал над страной и держал ее, я бы сказал, в смысле человеческих масс и взаимоотношений между людьми в приличном состоянии, а потом начались всякие вещи, политически очень резкие, ведущие и к человеческим неприличиям часто. Вот с 28-го года всякие такие затеи, вроде нашего Дрозсоора, стали подозрительно контрреволюционными затеями и, в общем, их разогнали. Разогнали и наш Дрозсоор.

Сергея Сергеевича Четверикова отправили в ссылку, сперва в Свердловск, где он несколько лет заведовал паршивеньким маленьким каким-то краеведческим музейчиком. А потом разрешили переехать сперва во Владимир немножко, а потом в Горький профессором уже в горьковский университет. Это было в середине 30-х годов. Вот.

**”** Значит, наш Дрозсоор, в результате, был в те времена и далее, до второй войны во всяком случае, таким уникальным в отечестве нашем явлением. Мне в этом отношении повезло. Попав на научную работу за границу, я там затеял такие же свободные приватные научные кружки, вернее, кружок... два кружка: один буховский, а другой международный в виде такого биофизического коллоквиума международного, совершенно приватного.

Мы собирались в маленьких нейтральных странах вне сезона на хороших курортах, в лучших отелях, которые вне сезона гроши стоили совершенные. Прекрасный отель был в нашем распоряжении. Нас было там немножко меньше двадцати человек из... раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь — из восьми стран мы собирались, даже девяти, по несколько человек. В основном, значит, генетики... генетики, цитологи, физики-теоретики, химики-теоретики и математики. И тоже трепались в свое удовольствие. Это был такой... мы его называли биофизическим соором, но там не было той биофизики, которую сейчас, особенно у нас, называют биофизикой. Тогда же мы изобрели афоризм, что «биофизика — это не то, что часто называют биофизикой». А часто называют биофизикой все те случаи, когда врачи и биологи работают со слишком сложными для себя аппаратами. Вот. Так это не биофизика.

А, кроме того, в Бухе у меня всегда был в моей лаборатории кружок. (*Раздается какой-то звонок, видя, что Радзишевская собирается выключать магнитофон, спрашивает.*) Что, кончилась?

**М.Р.:** Нет. Мне показалось, что телефон у вас?.. Нет, показалось.

**Н.Т.-Р.:** Это, наверное, звонило что-нибудь снаружи. Вот. Эти кружки... то есть кружок, который был буховским соором, за границей, в котором принимало участие тоже всегда около... постоянных членов было около двадцати, не только из моей лаборатории, но из ряда других Kaiser Wilhelm Institut'ов в Берлине. А в качестве гостей приезжали со всей Европы к нам в гости. Вот, в частности, в нашем буховском кружке вырос в научного работника Адриано Буццати-Траверсо, про которого я вам рассказывал, карточка которого завалывалась тут на столе, и многие другие люди.

**”** А потом, когда я попал в богоспасаемую атомную систему, в которой провел девять лет, с 46-го по 55-й год, там, так как атомная система была республика в республике, и нам на вашу жизнь — то, внеатомную, было наплевать с высокой башни. У нас свое было начальство, и мы не подчинялись всяким вашим начальникам, то там тоже у меня продолжался кружок научный того же типа.

Ну, конечно, это было уже другое, чем в Дрозсооре, времена были другие, но так же молодые люди выросли на серьезном научном взаимном трепе — соорях. И сейчас многие из этих молодых людей уже не совсем молодые люди и очень хорошие ученые. Вот.

И тоже самое я продолжал уже (мне было на все наплевать, конечно, я не боялся никогда ничего, про меня распускались

всякие сплетни) и в УФАне, на Урале, в Свердловске. Тоже всегда у меня в лаборатории был такой неофициальный кружок, в который допускались только те, кого мы допускали. А, так сказать, ученых в штатском мы не брали (*усмехается*) к себе в кружок. Но, тем не менее, они как-то проникали, что-то слышали, что-то доносили, но нам на это было наплевать. Я свое отсидел, и мне было наплевать. Я резонно... а, кроме того, тут кончились уже серьезные времена, начались более юмористические — хрущевские. Во!

**М.Р.:** Отдохнете?

**Н.Т.-Р.:** Можно.

(*Магнитофон выключен, потом включен.*)

## Преподавание\*

**Н.Т.-Р.:** Вернулся я окончательно с гражданской войны в самом конце 20-го года. Еще некоторое время отбывал военную службу, но уже в Москве, по тыловому, в основном пел первым басом в Красноармейском хоре Московского военного округа.

<sup>2</sup> Здесь Н.В. повторяет немного по-другому рассказ о своей занятости разными преподаваниями из 4-й беседы и работе на биостанциях.

**М.Р.:** И получали фронтовой паек.

**Н.Т.-Р.:** Да, и получал фронтовой паек. Но тут у меня началось время чрезвычайно большой занятости всякими делами. Наука, так сказать... наукой я занимался, в общем, бесплатно. В конце первой мировой войны Вернадским в Академии наук была создана Комиссия по изучению естественных производительных сил России, сокращенно КЕПС. Этот КЕПС после революции разросся. Ленин придавал большое значение развитию КЕПСа. КЕПС разбился на целый ряд отделений, в том числе и территориальных. В Москве было организовано Московское отделение КЕПСа, которым ведал Кольцов, и меня и еще нескольких молодых людей среди своих сотрудников он, за неимением других штатных единиц, устроил сотрудниками этого самого КЕПСа. Мы получали какие-то небольшие денежки и состояли сотрудниками КЕПСа. В конце концов, мы стали сотрудниками кольцовского института, но вот по КЕПСу.

Но я, во-первых, вскоре женился, затем мать надо было тоже содержать, она уже старая стала, вообще, денег надо было. Этих красноармейских пайков и кепсовского маленького жалованьишка не хватало, поэтому я развил педагогическую деятельность на рабфаках.



Е.А. Тимофеева-Ресовская. 1926

Когда-то еще, во время первой войны, еще даже не кончив гимназии, я что-то такое читал периодически на Пречистенских вечерних рабочих курсах. Были такие в Москве, в свое время знаменитые Пречистенские рабочие курсы. Они после революции превратились в первый и самый большой Московский рабочий факультет — рабфак. Огромный рабфак, при котором потом свое высшее учебное заведение, Практический институт возник, который в 29-м — 30-м году был закрыт. Это было очень интересное учебное заведение, выпустившее нескольких хороших ученых из своих студентов.

Так вот, этот рабфак возник в 20-м — 21-м году, Практический институт в 22-м — 23-м году. Я стал преподавать на рабфаке... (Радзишевской) Что это вы?

**М.Р.:** Продолжайте, продолжайте, не обращайтесь на меня внимания.

**Н.Т.-Р.:** Это вы так, для забав, или душно?.. Я стал преподавать на Пречистенском рабфаке зоологию, в основном, стал преподавателем, сперва младшим, а потом просто преподавателем Практического института, вел малый и большой практикумы по зоологии... и где-то еще преподавал. Одним словом, у меня набралось пятьдесят шесть часов в неделю педагогики. Когда сейчас я этим самым шкрабам рассказываю, они не верят — невозможно столько трепаться. Я говорю: вполне возможно. Сейчас у учителей очень мало этих самых педагогических часов в неделю, поэтому они скверно преподают. Ежели бы у них было бы побольше занятости педагогикой, то они бы преподавали лучше много, потому что развилась бы бойкотность языка.

**”** Кроме того, я на протяжении своей довольно длинной жизни, три четверти века с хвостиком, убедился, что чем больше человек занят, тем больше он успевает сделать. Чем меньше человек занят, тем меньше он делает того, для чего он сокращает свою занятость якобы, ну, скажем, научной работы.

Так вот. Мое время распределялось так: у меня всякая трепатология начиналась в некоторые дни в восемь, а в большинстве в девять часов утра, а кончалась в девять часов вечера. Я, значит, перебегал с места на место по разу в день. В это время предполагалось, что я успеваю где-то позрять, но не успевал. Поэтому я приходил в девять часов вечера домой и наедался, сколько мог, как австралиец: раз в сутки, значит, напирался, чем только можно. И потом уходил в кольцовский институт работать для продвижения наук в каком-то направлении. И работал там до часу, иногда до двух. Потом возвращался домой и занимался историей живописи времен Ренессанса и старинной русской иконописью и русской фресковой церковной. Вот. Затем ложился спать в четвертом часу и... это я, кажется, уже рассказывал. Я еще будучи гимназистом старших классов натренировался мало спать...

**Н.Т.-Р.:** Рассказывали.

**Н.Т.-Р.:** ...что оказалось очень выгодно. Я спал четыре-четыре с половиной часа в сутки, но очень глубоко спал, безо всяких сновидений, никогда снов не видел. И мне этого было достаточно. Вот так вот я и жил. И так как у меня интересов было довольно много разных... Да, в это время я еще умудрялся зарабатывать фронтальной паек пением в хоре красноармейском, как-то в промежутках, значит, между рабфаком и Практическим институтом, и кольцовским институтом. Вот так, значит, и крутился.

И этот крутеж — вещь весьма полезная. Я, правда, устроился вот как. На всех местах работы я предупреждал честно, что я, сколько надо и даже еще больше могу работать до середины месяца мая и с месяца октября. А конец мая, июнь, июль, август и сентябрь я провожу на лоне природы на биологических станциях, потому что я биолог и одним трепом жить не могу, а должен иметь, так сказать, биологический подножный корм. Так что я в основном на Звенигородской станции и затем на станции Практического института, которую я же в основном и организовывал на станции Влахернская Савеловской железной дороги. Около станции Влахернская нашли мы недостроенную маленькую фабричку «Карболит». Что это за «Карболит», я не знаю, какое-то вещество они должны были вырабатывать, но ничего не вырабатывали. Прекрасно построенное фабричное зданье и еще маленький домик без единого окна, то есть стекла. А мы достали через академика Лазарева стекла, застеклили всё это и сделали биологическую станцию.

Вот я, значит, на Звенигородской станции и затем минимум полтора месяца на Влахернской проводил, там мы пропускали через себя несколько сот студентов Практического института, биотехнического факультета и сельскохозяйственного факультета. Очень здорово у нас было построено. Каждый студент получал такую работу, вроде самостоятельного исследования небольшого клочка земли: леса или луга, так сказать, монографическое исследование, ботанико-зоологическое и почвенное. Обыкновенно три преподавателя этим ведали. Я в качестве зоолога, затем одна ботаничка и один такой почвовед, он же метеоролог. Это, конечно, меня здорово выручало, потому что от рабфака и Практического института я только... Практический институт мне зачитывался... практика там на Влахернской, а рабфак... я на месяц меньше там телепался, чем положено, потому что на рабфаках были тоже летние каникулы длинные, трехмесячные, ну, а я еще месяц прибавлял.

## Первые печатные работы

В общем, так сказать, мы наладили хорошую лабораторную работу помаленьку, генетическую. Я написал... две заметочки маленьких и три работы, из которых одна очень большая. Все они вышли, одна работка вышла в 24-м году, а четыре работки вышли в 25-м году, вначале 25-го года, весной.

И тут произошло следующее. Умер Ленин и решили какие-то начальствующие инстанции что ли... Тогда существовало ЦК партии, да?

**М.Р.:** Ну, существовало.

**Н.Т.-Р.:** ЦК-то, наверное, существовало какое-нибудь?

**М.Р.:** Конечно.

**Н.Т.-Р.:** Вот. Оно, кажется, решило: изучать ленинские мозги, для чего решили в Москве Институт мозга устроить.

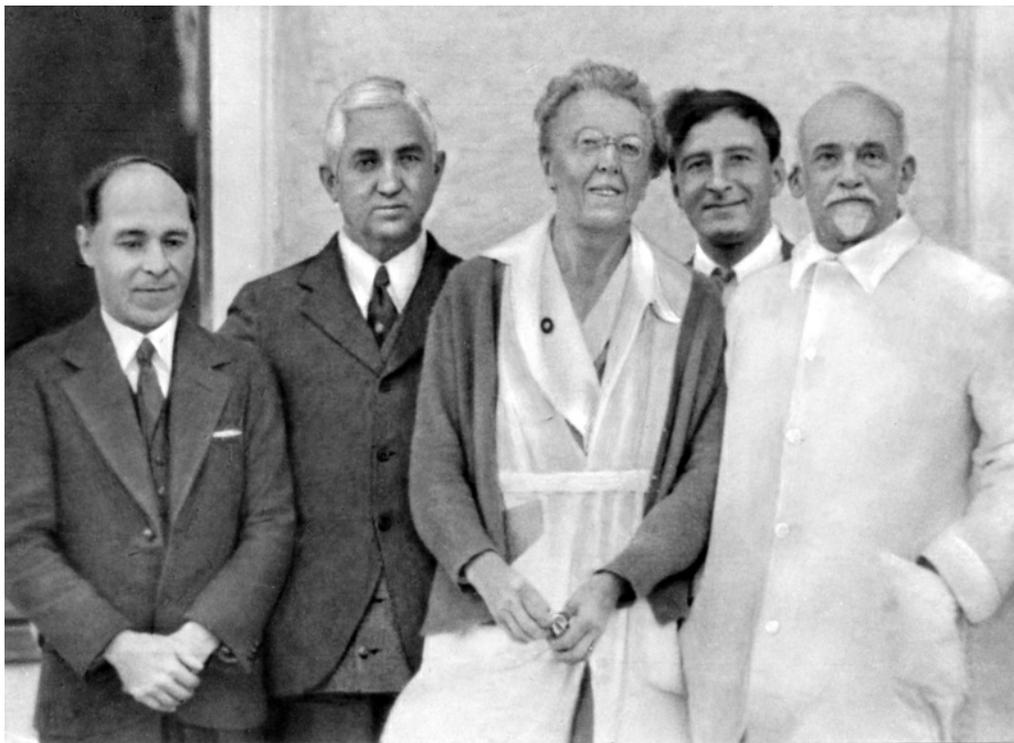


И для этого был приглашен Оскар Фогт, знаменитый немецкий ученый, мозговик, не патологоанатом, а анатом мозга, собственно, архитектор мозга.

Он развил, собственно, придумал <нрзб.> архитектуру коры больших полушарий. Он такой левонастроенный очень был гражданин. Они с Лениным оба в 70-м году и, по-моему, в одном и том же месяце родились даже. Вот. И он, еще, между прочим, на какой-то консилиум еще до смерти Ленина приезжал сюда к Ленину. Познакомился с Семашкой, с Кольцовым. Очень интересный был человек.

И вот уже весной 25-го года, приехавши по делам этого мозгового института, который устраивался уже в Москве, он обратился к Кольцову и к Семашке. Ведь тогда кольцовский институт, как и большинство московских научно-исследовательских институтов, объединялись ГИНЗом, Государственным институтом здравоохранения, который Семашко устроил. Ведь академия была в Петербурге, в Петрограде, потом в Ленинграде, а московские научно-исследовательские институты объединялись ГИНЗом. Потом большинство из них с переездом академии в Москву вошло в академию. Так вот. Обратился к Кольцову и к Семашке с просьбой порекомендовать ему какого-нибудь русского генетика, потому что он в своем Kaiser Wilhelm Institut'e (он был директором Kaiser Wilhelm Institut'a<sup>3</sup> в Берлине) хочет генетический отдел организовать. Сперва лабораторию, а потом, ежели дело пойдет, генетический отдел. Ведь в Kaiser Wilhelm Institut'e директора могли, что угодно: какие-нибудь лаборатории, отделы открывать, им была предоставлена в этом отношении полная свобода. А в Германии не было подходящего молодого человека. Были, конечно, генетики, но все такие старые профессора: Баур, Гольдшмит, <нрзб.>, Хартман, всякие такие. Они все уже занимали... сами были директорами, профессорами, а молодых людей было несколько штук, ихних учеников, они у них работали ассистентами. Ни одного свободного человека не было.

<sup>3</sup> Институт, которым руководил Оскар Фогт, назывался Institut für Hirnforschung der Kaiser Wilhelm Gesellschaft für Förderung der Wissenschaften — Институт исследования мозга Общества содействия наукам им. кайзера Вильгельма.



Справа налево: О. Фогт, Н.В.Тимофеев-Ресовский, С. Фогт, неизвестный, Г. Мёллер. Германия, 1930—1935

*(Небольшой перерыв в записи в связи с окончанием дорожки.)*

Ну вот. И Кольцов порекомендовал меня. У меня как раз уже пяток работ было печатных. Там, и в Германии, и в Англии кое-кто, и в Америке генетики уже знали-то мое имя по этим работам и по Мёллеру. И Семашко тоже, значит, очень был за это. Я против был: мол, куда я не поеду, к этим басурманам, очень они мне нужны! Тогда сам Семашко Николай Александрович стал меня уговаривать: «Николай Владимирович, это, так сказать, миссия почетная. Принято было, что мы к немцам учиться ездили все время, а тут *(усмехается)* они приглашают вас учить их, заведовать лабораторией генетической. Как же можно отказываться!» Ну, в общем, уговорили нас с Лёлькой. Значит, мы согласились и в июле что ли, в конце лета, уехали туды.

**М.Р.:** Один вы уехали?

**Н.Т.-Р.:** С женой.

**М.Р.:** С женой понятно, а так один?

## Германия. Начало работы

**Н.Т.-Р.:** Один, да. Семашко так наркомом и остался в Москве (*смеется*). И началась с этого моя заграничная жизнь. Сперва-то мы собирались на три — пять лет уехать. Мы же ехали не в какую-нибудь командировку на советский счет, а на службу в этот Kaiser Wilhelm Institut. Я получил место научного сотрудника сперва, а уж потом меня сделали заведующим лабораторией, а потом заведующим, в 29-м году, отделом, а с какого-то там 38-го года, что ли, я заведовал отделом генетики и биофизики в Берлин-Бухе. Вот. Ну, тут началась такая штука. Я, значит, продолжал, мы с Лёлькой вместе... Там уже ждали меня, двое сотрудников для меня были наняты без меня. Это я разрешил Фохту. Он правильно сказал: «Ну что, вы все равно никого не знаете. Я вам подыщу двоих молодых людей». Я сказал: «Подыскивайте».

Один оказался очень... да оба оказались очень подходящими. Один русский немец — Михаил Иванович Клемм. Он прекрасно говорил по-русски, несколько похуже по-немецки, по-французски совсем плохо, английским вовсе не владел. А другой Райниг, Вилли Фред Райниг. Он лучше всего говорил по-английски с американским акцентом, потому что родился в Америке, и по-немецки хорошо говорил, по-французски очень плохо. Райниг был зоолог. Из него крупный зоолог получился. Он, к сожалению, в конце войны погиб. Его отправили в Норвегию, в тыл куда-то там, в оккупационные войска, и там какие-то норвежцы... они не пристреливали немцев, они ножами прирезали их, обыкновенно в темноте уже. Стоит такой немчик где-нибудь на часах, курит сигаретки, а его норвежец, значит, выследит и ножичком между ребер запущает. И немец, не ахнув, умирает. Так и Райнига моего прирезали. А хороший был очень человек. Он был, главное, антинацист страшный, добропорядочный человек и первоклассный зоолог. Три книжки опубликовал хороших, они у меня есть. И много работал.

А Клемм в конце концов занялся такой прикладной зоологией и потом перешел в <нрзб.> — чиновники биологические. Очень полезной деятельностью... Он жив до сих пор, старичок, и очень полезный человек для нас, потому что он там реферрирует всю русскую зоологическую литературу и помогает, ежели что-нибудь переводится наше.

Ну вот, начали мы маленькой такой лабораторией. Затем лаборанточка какая-то появилась у нас, начали мы работать. Еще присоединился один такой уже пожилой дяденька, специалист по шмелям, изменчивостью шмелей занимался. Дело в том, что Фогт был не только мозговик, но один из крупнейших специалистов по шмелям, как раз тоже изменчивостью шмелей занимался. Ну, и он мне посадил этого... господи, вот выскочило, как же его звали. Herr Doktor... одним словом какой-то шмелиный доктор.

И было у нас... раз, два, три комнатки. И поставили-таки мне телефон. Я сопротивлялся. Сам Фогт, старик, пришел меня уговаривать: «Это удобное изобретение человечества». А я терпеть не мог и до сих пор терпеть не могу телефона. Я всегда рассуждал, что ежели мне что-нибудь, кто-нибудь нужен, я схожу к нему или съезжу. То же самое, ежели я кому-нибудь нужен, может прибежать ко мне. Так? А то этот треп телефонный — ужасная штука. Треп, треп, треп — времени уходит больше, чем ежели нет телефона. Известно, что два раза в неделю мне кто-нибудь нужен и я кому-нибудь нужен, ну, может, три раза в неделю нужен, а при наличии телефона — все время телефонный треп. Но меня все-таки уговорили. Я единственное, на чем настоял: телефон Елене Александровне, жене моей, поставили, а не мне, там, в лаборатории-то. У нас с ней на двоих была большая... не две комнаты, а вроде одна, подразделенная на две половины комната. Так в ее половинке мы поставили.

И тут началось, значит. Я, во-первых, продолжал феногенетикой заниматься, и Елена Александровна тоже, на дрожифиле. Затем я надзирал... Да, Райниг у меня тоже дрожифильную работу начал. Клемма же я вскоре отправил в Грецию, не к чертям собачьим, а в Грецию: собирать жуков системы божьих коровок, но не тляядущих, а растительноядных — *Epilachna chrysomelina*. И вот почему. Мы и с Райнигом, и с Клеммом... тут появился еще у меня такой доктор Циммерман, как раз кончивший университет в Ростке, зоолог, мышевед и энтомолог одновременно. И вот мы все решили, я их уговорил, попробовать заняться монографическим экспериментально- систематическим и географическим анализом какого-либо вида. Ну, конечно, насекомых. И вот мы рылись в литературе и, наконец, нашли, я, кажется, нашел, в конце-то концов, божью коровку, но... божьи коровки, большинство известных вам и другим людям неосведомленным, они тляядущие, полезные для человека. Еще у Чехова-то: «Ржа ест железо, тля ест траву, а лжа душу». А божьи коровки — тлей. Вот. А в революцию-то мы говорили: «Ржа ест железо, тля ест траву, а...

**М.Р.:** «...а пша душу».

**Н.Т.-Р.:** «...а пша душу» (*смеется*). Так вот. А эта жрет Cucurbitaceae — тыквенные растения различные. Их два рода, в основном, этого подсемейства Epilachninae растительноядных, это род Epilachna и род Subcoccinella. Род Subcoccinella ест различные гвоздичные растения, а эта — тыквенные. Они на юге являются вредителями бахчей всяких: арбузы, тыквы, огурцы, дыни, <нрбр.> из диких. Очень широко распространенный жук, на проростках тыквы можно его легко разводить, и по литературным данным он давал несколько поколений в год. Мы потом увидели, что можно шесть-семь поколений в год получить. Так вот, отправил я Клемма ув Грецию на остров Корфу и на греческий материк, в окрестности Афин собирать эту самую Epilachna, что он и сделал благополучно.

Тут появилась еще, кроме Циммермана, зоолога, еще одна какая-то польская еврейка. Вообще, она лучше всего говорила, пожалуй, по-немецки, потом по-русски, немножко по-польски, немножко по-французски. Тененбаум такая. В 34-м году, когда Гитлер тут был, мы с Фогтом умудрились ее благополучно переправить в Палестину, в Иерусалимский университет. Что после войны с ней там случилось, этого я не знаю, но она там до конца войны благополучно занималась наукой. Эсфирь — имя ее было, Эстера Тененбаум. Значит, это было поначалу всё у меня.



Потом начали прибывать другие люди. Началась у нас эпиляхновая работа. Это было запланировано на долгий срок. Она и продолжалась восемнадцать лет у нас: вот эта экспериментальная систематика, зоогеографический анализ вида *Epilachna chrysomelina*.

Собственно, так закончено и не было. Основную монографию я не успел написать. Но такую сводочку я уже здесь, краткую... мы с Еленой Александровной и Циммерманом, он из Германии помогало немножко, написали сводочку в «Трудах УФАН» — Уральского филиала Академии наук. Но это краткая такая, сжатая сводочка. Вот, это большие были работы.

И кое-что со шмелями. Со шмелями... да, Крюгер, этого шмелиного-то доктора фамилия была. Он был профессор, а мне двадцать восемь лет, двадцать семь, когда он у меня появился, а ему было сорок пять примерно. Он был кроме того профессор, но мне подчинялся, такой дяденька. Да еще туземец, немец, а я, значит, русский, приезжий. Чудно было! Но он страшно дисциплинированный был такой немец. Значит, шмелями, эпиляхной, мыши появились различные, дикие, не лабораторные мыши. Циммерман у нас занимался... ловил мутации в природных популяциях полевых и лесных мышей и полевков. Знаете, что не все мыши — мыши, а которые с коротеньким хвостом — это полевки. А мыши — с длинным хвостом. А есть еще, ежели они потолще немножко, покрупней, то это хомячки. Не хомяки, а хомячки. Хомяков-то вы, наверное, знаете.

**М.Р.:** А хомячки — это маленькие?



Участники V Международного генетического конгресса. В последнем ряду справа Н.И. Вавилов и Н.В. Тимофеев-Ресовский. Берлин, 1927

**Н.Т.-Р.:** Нет, хомячки — это не маленькие хомяки, а это совершенно другая группа, другой род — *cricetulus*. Вот такие они (*показывает*), похожи на полевков и близко родственны полевкам. Так вот, значит, целый ряд видов у нас появился, которыми мы стали заниматься. И прекрасно работали себе и работали, печатались, так что, когда в 27-м году был 5-й Международный генетический конгресс, в Берлине как раз, тогда еще приехало несколько человек русских: Четвериков приехал, Кольцов приехал, Вавилов приехал, Писарев, Левитский, Карпеченко из вавиловцев, Серебровский приехал. Одним словом, несколько из Совдепии приехало людей. Был очень интересный конгресс, первый после войны мировой, да еще в Берлине устроен. Ведь после первой мировой войны несколько лет в Германии международные конгрессы не устраивались. Бывшие враги все-таки считались.



Участники V международного конгресса посещают Сан-Сузи. В центре С.С. Четвериков и Н.В. Тимофеев-Ресовский. 1927

## Три направления работы



Путешествие в Америку на теплоходе Columbus. В центре (в платье с белым воротником) Е.А. Тимофеева-Ресовская. 1932

А в 32-м году в Америке конгресс международный был устроен. И нормально мы с Лёлькой решили, что куды нам ехать: дорого страшно и вообще... Но тут оказалось, что наши работы все-таки стали уже столь известны, что меня организационный комитет конгресса пригласил в качестве одного из двенадцати приглашенных докладчиков на общих собраниях конгресса, не секционных, а, значит, на пленарных заседаниях. И мне написали, что я являюсь гостем конгресса,

что мне и вся дорога туда и назад оплачена, и пребывание там оплачивается. Ну, тут мы с Лёлькой решили: «Господи, вдвоем-то съездить можно, ежели один-то целиком оплаченный. Потом оказалось, что там еще нас особо пригласили на четыре месяца в Carnegie Institution поработать, так что там платили нам деньги. Одним словом, шикарно съездили в Америку. И кроме нас, русских, во всяком случае, из советских русских, был только один Николай Иванович Вавилов.<sup>4</sup> Больше никого не выпустили уже тогда. Тогда уже настоящая советская власть началась, сталинский прижим, с 29-го года.

<sup>4</sup> В 1932 году в Итаке (США) проходил 6-й Международный генетический конгресс, на котором Н.И. Вавилов был избран вице-президентом.



Н.И. Вавилов, Т.Г. Морган и Н.В. Тимофеев-Ресовский во время VI Международного генетического конгресса в Итаке. США. 1932

Мы это прекрасно знали, потому что через нас проезжали ведь во всю Европу и в Америку. Все через Берлин ехали-то командированные. До 28-го года каждый год, я не знаю, десятки, несколько дюжин командированных ученых проезжало через Берлин, все к нам, значит, заходили, всякая такая штука.

” В 29-м году как обрезало. Несколько человек в 29-м году всего было. А с 30-го — никого, совсем, фьють, и кончилось.

Вот. Только какие-то там политики ездили, да и то лучше бы, дураки, не ездили, потому что, я знаю, все эти коммунисты, которые по политической линии, значит, в командировки какие-то ездили в 30-е годы, все в конце 30-х годов на тот свет были отправлены. Этого достаточно было. «А, съездил за границу!..» Абы чего не вышло, так лучше его того... Вот. Так что побывали мы в Америке.

К тому времени я и часть моих сотрудников огромный материал уже провернули по мутациям, вызываемым всякими радиоактивными излучениями, рентгеновскими лучами и так далее. Первые работы мы в Москве с Ромашовым... Кольцов, еще даже до приезда Мёллера с дрозофилой, попросил нас попробовать облучить рентгеном каких-нибудь дрозофил (дрозофилы всюду водятся), поймать дрозофил, облучить и посмотреть, что получится. Мы сделали, и ничего не получилось. Какие-то мутации выщеплялись, но мы, вообще-то, и генетики еще не знали путем, и не *Drosophila melanogaster*, хорошо изученную, а какую-то *Drosophila obscura* или *funnebris* ловили. И там выщеплялось... и в контроле и в облученном материале несколько мутаций каких-то выщепилось, которые в природных населениях в гетерозиготном состоянии содержались уже. Так что ничего из этого не вышло.

Первая работа была выпущена осенью 27-го года Мёллером. Он вот на Берлинском международном конгрессе об этом докладывал. И я, еще не зная об его работе, в Берлине начал ультрафиолетовыми лучами и рентгеном облучать дрозофилу. Ну, уж тогда я был дрозофилистом настоящим. И, пожалуй, после Мёллера ботаник такой на злаках Стадлер, американец, опубликовал после Мёллера в начале 28-го года. Я первую работу в начале 28-го года опубликовал<sup>5</sup> и кто-то еще. И потом пошло-пошло. Образовалась целая радиационная генетика вскорости. Вот. Я первую сводку написал в 29-м году, коротенькую, в 31-м году уже довольно толстенькую и в 34-м году английскую, довольно подробную, и в 37-м году выпустил немецкую книжку уже о мутациях, вызванных преимущественно облучением<sup>6</sup>. Вот.

<sup>5</sup> Timofeev-Ressovsky N.W. Der Stand der Erzeugung von Genovariationen durch Röntgen Bestrahlung // J. Psychol. Neurol. 1929. BD. 39. № 4—6. S. 620—635.

Кроме того, мы с женой продолжали размышлять и работать по воссоединению генетики с эволюционным учением и проделали первую, в сущности, работу. Мы даже не знали: оказывается несколько четвериковских ребят, молодых человек, в Москве тоже какую-то кавказскую популяцию дрозофилы изучили генетически, а мы — берлинскую популяцию. Но мы раньше успели напечатать: в 27-м году вышла наша первая работа «Генетический анализ природной популяции *Drosophila melanogaster*». С этого пошла опять-таки популяционная генетика. Тут, посыпалось: и у нас, и англичане, американцы, одним словом, сейчас это огромное поле деятельности. Потом сюда прицепились математики. И у меня, уже здесь, вышло несколько таких популяционно-генетических работ, совместных с математиком моим, таким Юрочкой Свиричевым. Вот. Это, значит, второе направление. Феногенетикой продолжали мы заниматься.

” Значит, в основном, было три направления: популяционная генетика и всякие эволюционные затеи, затем мутационная генетика, мутационный процесс, и феногенетика. Три основных направления работ.

Лаборатория росла, росла, росла. В 29-м году она была превращена в отдел, а в 36-м году отдел генетики был превращен в отдел генетики и биофизики. Фогт вышел в отставку в качестве директора института, ему шестьдесят пять лет уже исполнилось, даже шестьдесят шесть. А я, мой отдел генетики и биофизики, отделился уже в финансовом и административном отношении от Мозгового института и стал просто отделом генетики и биофизики Kaiser Wilhelm Institut'a в Бухе. Вот.

В середине 30-х годов, как раз в 36-м или 37-м году... в 37-м, наконец, догадались меня вызывать обратно в обширное наше отечество и даже через генеральное консульство или посольство. Полпредство тогда называлось. Но тут одновременно... мы очень хотели вернуться, хотя знали, что там делается, но все-таки немножко недооценивали. Но отсюда нам друзья написали, что возвращаться к нам сюда из-за границы сейчас можно только прямо на тот свет, в лучшем случае, ежели повезет, так в Магадан. Так и билетик брать не в Москву, а в Магадан. Вот. И Кольцов через шведов мне написал, что «ни в коем случае не возвращайтесь, вы только всем нам навредите, нам всем будут неприятности, а вам большие неприятности».

Ну, я поэтому оттягивал, оттягивал, а потом началась война, уже нельзя было возвращаться, даже при полном желании. Остался в качестве вражеского иностранца там. Меня особенно не тревожили: что ж, я там долго уже прожил, в Бухе, все меня знали, полиция меня тоже знала. Когда в первый раз... вообще, было уже известно, что вражеские иностранцы, которые живут в Германии, должны каждую неделю появляться в своем полицейском участке для того, чтобы зарегистрироваться, что они существуют, никуда не делись, никуда не убежали. Я через неделю появился в Бухе, в полиции. Начальник полиции, какой-то майор или подполковник полицейский, услышав, что это я пришел, из своего кабинета вышел, мы поздоровались, он меня к себе утащил в кабинет, предложил чашечку кофе и сказал: «Знаете, Herr Doktor, ведь вы нас давно знаете, давно тут в Бухе живете, мы вас тоже давно знаем. Ну, что вам таскаться к нам. Я вам птичку буду ставить каждую неделю, и все» (*усмехается*). Так больше я и не появлялся в полиции, а ставили мне птичку рукою самого начальника полиции буховской.

” Так что, надо сказать, все-таки... Конечно, гитлеровская Германия была очень ужасна, но в каких-то отношениях все-таки было несравнимо со сталинским режимом. Все-таки сталинизм был много ужасней, да и жизнью он потребовал много больше. Как никак, а сорок восемь миллионов людей было угроблено за сталинский режим. Это почти целая Германия.

Ну, конечно, очень было противно, ужасно. Но мне было менее противно, чем немцам. Я иностранец, я, так сказать, со стороны смотрел на все эти гитлеровские безобразия. Но в Бухе у нас было очень хорошо. Практически не было шпиков. Много... вот все эти кружковые наши занятия продолжались. Затем мы устраивали многих полуевреев иногда даже... есть же такой советский анекдот: «Мойша, ты знаешь, я сейчас по паспорту русский. — Так ну и что? Бить-то будут по морде, а не по паспорту». (*смеются*). Так вот, попадались евреи, у которых морда совершенно не отличима от немецкой, но а паспорт-то еврейский. Таких мы тоже укрывали иногда в Бухе.

Я получал какие-нибудь стипендии, там раковые от центра Krebszenter, был такой центр в Германии по изучению рака. Ну, всякие ученые получали оттуда какие-то стипендии для каких-то работ, никакого отношения прямого к раку не имеющих. Мы на мутации, конечно, получали, потому что часть раков возникает в виде мутаций. Так вот. И какую-нибудь стипендейку какому-нибудь недорезанному жидику, и он переезжает, скажем, в Бух. При институте были комнаты и квартирки, прописки никакой особенно не требовалось. Так живут себе и работают. Так многие пережили войну. Мой друг, такой Шуручка Кач... но он, вообще, не немец. Его отец был литовский полуеврей, а мать русская, Пузанова, сестра зоогеографа Ивана Ивановича Пузанова, недавно умершего в очень уже древнем возрасте. Он был профессором зоологии в Одессе-маме. И дед его, отец его отца, проживавший уже в России, принял немецкое подданство, будучи каким-то инженером, представителем каких-то немецких фирм технических в России. А он был еврей, дед-то этот, ну, чтобы по еврейской линии не иметь никаких неприятностей, он стал немецким поданным. Его папаша тоже был немецким поданным, и в 19-м году они были отправлены в Германию, когда всех немцев возвращали в Vaterland. А когда Herr Hitler появился, Кач в качестве полуеврея (отец его числился евреем) а он, на самом деле, был только на четверть евреем, потому что его бабушка по отцу была русская, а не еврейка, но он доказать-то никак не мог там. Его чуть в лагерь не отправили, но я его лично в Бух перевел. Он прекрасный ученый. Сейчас он директор биологического сектора немецкого, западногерманского, атомного института. Там два директора: один физик, один биолог, оба мои ученики и сотрудники. Циммер был такой, доктор Циммер — физик, и доктор

Кач, то есть они сейчас профессора, доктора и всякая такая штука. Во!

В конце концов, разросся мой отдел довольно здорово. Надо сказать, ведь за границей нет таких гигантских институтов, как у нас, к счастью, поэтому там науки и процветают намного пышнее, чем у нас. И лучше развиваются, потому что в этих наших гигантских институтах ничего всерьез делать нельзя. Это не научно-исследовательские институты, а какие-то универмаги. В ФИАНе сейчас семь тысяч восемьсот штатных единиц, в Физическом институте Академии наук. Он расположен в пяти разных местах в Москве и под Москвой. Ну что это такое?! Что это, научный институт?! Нет! У меня было шестьдесят человек со всеми: с уборщицами, садовник был, и помощница садовника, потому что мы разводили тыкву в огромных количествах в качестве корма для этой эпиляхны. У меня две оранжереи было, специальных, экспериментальных, по особым чертежам построенных, с конца 20-х еще. Когда-то, еще в 28-м году мы их построили специально для эпиляхны. Вот. Теперь что научно и лично с нами происходило за границей, это я лучше в следующий раз вам расскажу. Что-то я обалдел малость.